

ВЛАДАРГ ДЕЛЬСАТ



Вернувшись из ада

МИРЫ ТАУРИС

Владарг Дельсат
Вернувшись из ада
Серия «Миры Таурис», книга 10

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=70438282

SelfPub; 2024

Аннотация

Один необдуманный поступок – и жизнь избалованной колдуньи Алин меняется навсегда. Странный артефакт переносит ее во времена концлагерей. Алин оказывается в руках тех, для кого человеческая жизнь не значит ничего. Ей предстоит не только выжить в бесконечном аду, но и не потерять веру в людей. Ведь жизнь уже готовит для Алин новый поворот судьбы. И только от нее зависит, чем он обернется: очередным испытанием или величайшим чудом.

Содержание

Первая глава	5
Алин Пари	5
Уве Вебер	11
Вторая глава	16
Алин Пари	16
Уве Вебер	23
Третья глава	28
Алин Пари	28
Уве Вебер	34
Четвёртая глава	39
Алин Пари	39
Уве Вебер	44
Пятая глава	49
Алин Пари	49
Уве Вебер	54
Шестая глава	59
Алин Пари	59
Конец ознакомительного фрагмента.	64

Владарг Дельсат Вернувшись из ада

Первая глава

Алин Пари

На самом деле я – Алёна Паршина, но мама вышла замуж за француза и изменила моё имя на французское, чтобы я в школе не выглядела белой вороной, хотя, кажется, в Швейцарии это всем всё равно. Но сделанного не воротишь, а я теперь – Алин, хотя логичней было бы быть Еленой. Но мне было семь лет, права голоса у меня не было, а мама... В общем, ей лучше не возражать. Я и не возражала, мне-то что.

Несмотря на то что Жак мне неродной, любит он меня и заботится, как о собственной дочери, в результате чего я выросла фифой. Балованной, значит, хотя в свои двенадцать я это не очень понимала, пока меня не пригласили в специальную школу. Поначалу, услышав «школа колдовства», я удивилась, потому что больше всего это походило на розыгрыш – сопливую фэнтезятину я читала, конечно.

Но в школу я не попала... Герр Шлоссер, пришедший к нам тогда домой, рассказал мне, что все школы Швейцарии возят детей на экскурсии – ну, это я знала и так, но вот в двенадцать лет детей знакомят с историей нацизма, поэтому экскурсии специфические, а так как я – ведьма, то мне нужно знать технику безопасности, а то могут быть непри-

ятные сюрпризы. Но я слушала его вполуха... Дура я, просто непроходимая дура... Что мне стоило выслушать умного человека?

Об экскурсии куда-то на север Германии нам объявили вчера, и вот сегодня мы едем. Удобный автобус, есть туалет и даже телевизор. Мне, впрочем, скучно. Объяснения по поводу того, куда мы едем, я пропустила мимо ушей, запомнив только, что это надо, и всё. Ну, надо и надо... Мне всё равно.

Приезжаем мы в какой-то городишко, ничего интересного, после чего нас распускают «погулять». Ну, погулять – это мысль, поэтому я топаю в парк. Народу здесь немного, стоят какие-то статуи, мне неинтересные, хотя вон та, в виде девочки с поднятыми вверх руками, которая будто защищается от чего-то, жутковато выглядит. Но мне просто скучно, хочется домой. Думая о том, что мы уже целый день путешествуем, я в задумчивости пинаю какие-то то ли камни, то ли вообще кости. Да ну, откуда здесь кости?..

Одета я в платье. Лето на улице, поэтому по маминому настоянию я надела платье, хотя в джинсах было бы удобнее, но мама воспитывалась в суровых условиях, поэтому за непослушание может и за косу оттаскать, и по заднице отходить. Поэтому я боюсь с ней спорить. Да и нарываться ради платья? Фиг с ней! Вырасту, уеду от неё подальше, там она меня уже не достанет.

Вот так я иду, а затем вдруг вижу в траве какой-то железный кружок, на смайлик похожий. Наклонившись, беру его

в руки, совершенно забыв о том, что говорил герр Шлоссер. В первый момент ничего не происходит, но вот когда я пытаюсь согреть в руке странно холодный металл, внезапно качусь кубарем от сильного удара по спине. Я слышу свист, и ещё более сильная боль обжигает спину. Обнаружив себя в грязи, я тем не менее не успеваю даже закричать.

– Aufstehen!¹ – слышу я злой выкрик. Чьи-то руки быстро поднимают меня на ноги.

– Нельзя лежать – будут бить! – по-французски произносит женский голос.

– За что?! – спрашиваю я, тем не менее заметив помогавшую мне женщину сквозь выступившие слёзы.

– За то, что лежишь, – француженка явно не в настроении что-то ещё объяснять, она придерживает меня, а потом я слышу ещё один злой выкрик и рычание собаки, сменившееся истошным криком, в котором нет ничего человеческого.

Я обнаруживаю себя в толпе людей – детей и взрослых. Нас гонят вперёд, подгоняя очень болезненными ударами каких-то палок. Я почти в панике – что происходит?! Что случилось?! Почему с нами так обращаются? Я смотрю по сторонам, насколько это возможно, но не вижу ни парка, ни статуй, вижу лишь рвущихся с поводков собак, жelaющих, кажется, вцепиться в меня зубами, и каких-то женщин в одинаковой чёрной одежде, глядящих на меня так, как мама, когда злится.

¹ Встать! (нем.).

Я замечаю, что толпа состоит из женщин, девушек и даже детей, я вижу девочек гораздо младше меня! Нас гонят куда-то, как скот, постоянно кричат, бьют, будто получая от этого удовольствие. Мне жутко, просто не сказать как! Наконец, появляется какой-то то ли сарай, но длинный, то ли... как же это слово было?.. Барак, вот! Внутри стоят столы и больше ничего нет. Я слышу ещё одну команду, но не понимаю её.

Люди вокруг меня начинают быстро раздеваться. Я же стою, замерев, не понимая, зачем они это делают.

– Быстро снимай с себя всё! – выкрикивает француженка. Но я не хочу!

Зачем нужно раздеваться, кажется, догола? Я не буду! Ой... Какую-то замешкавшуюся девочку бьют так, что брызги крови летят во все стороны. Это так страшно! Увидев женщину в чёрном, движущуюся в моём направлении с предвкушающей улыбкой, я судорожно начинаю расстёгивать платье. Женщина всё не уходит, она чего-то ждёт, и меня накрывает ужас от её улыбки, поэтому я быстро снимаю с себя всю одежду, как и другие женщины вокруг меня.

Что происходит, я по-прежнему не понимаю, но быть избитой не хочу. И тут звучит выстрел – ту девушку, совсем девочку, просто пристрелили! Видя это, я пытаюсь завизжать от страха, но сильный удар палкой в живот выбивает воздух из лёгких, отчего я чуть не падаю. Очередной хлёсткий удар по обнажённой спине заставляет меня кинуться к толпе та-

ких же голых женщин и девушек.

Нас стригут налысо, затем загоняют в душ, где льётся просто ледяная вода, а затем... затем меня привязывают к креслу такому, ну, которое заставляет ноги раздвинуть, и делают очень больно. Я кричу от этой боли где-то внизу живота, а меня за это бьют по лицу. Впрочем, я не одна такая, все вокруг кричат, визжат, плачут. Затем мне выдают полосатое платье, но белья не дают, а когда я спрашиваю, то получаю такой удар по лицу, что на мгновение теряю сознание. Но хуже этого платья – деревянные сандалии, в которых очень неудобно, правда, говорить об этом я уже не решаюсь.

Затем нас опять гонят. Кричат, бьют, загоняя в низкие деревянные строения. Мне показывают на какое-то место, а так как я не понимаю, то получаю ещё пару ударов, падая на колени. Другие женщины поднимают меня и куда-то усаживают, а я просто ничего не могу понять и только реву от ужаса.

Меня никто не успокаивает, но всё происходящее настолько страшно, что я просто не могу остановиться. Я ничего не понимаю – где я нахожусь, кто эти люди, за что с нами так? Что я такого сделала? Неужели это театр? Нет! Ту девочку точно убили, по-настоящему, это не может быть театром. Тогда что это, что?! Почему эти, в чёрном, так больно дерутся?

– Что это? Где мы? – я не замечаю, как произношу свой вопрос вслух.

– Это концлагерь, дочка, – вздохнув, отвечает по-фран-

цужски какая-то женщина. – Концлагерь Равенсбрюк.

Какой ещё концлагерь?! Такого не может быть! Они же давно уже закончились? Или... может? Тут я вспоминаю слова герра Шлоссера и чувствую, что сейчас упаду в обморок, но сильная оплеуха приводит меня в чувство.

– Даже не думай, – слышу я. – Затолкают в печь живой!

Уве Вебер

Зовут меня Уве, фамилия – Вебер. Я происхожу из довольно старой немецкой семьи, история которой мне неинтересна. Вчера мне исполнилось четырнадцать, что ничего не означает. Я живу с родителями на каникулах, а вне их – в школе. В Швейцарии есть такая школа – Грасвангталь. Помню, сильно удивился, когда к нам прямо домой явился сопровождающий от школы, приглашение принёс.

В Германии такое не принято, все приглашения, все бумаги доставляются по почте, потому появление сопровождающего несколько озадачило. Ещё больше озадачили его слова о школе колдовства. Выглядело это сказкой, как из фэнтези, но родители почему-то восприняли всё сказанное серьёзно. В тот момент мне казалось всё мистификацией, но поехать я согласился, хотя меня, похоже, и не спрашивали.

Начать «колдуны» решили с поездки в Освенцим. Я поначалу не понял причину этого, но герр Шлоссер очень хорошо умеет объяснять. Он рассказал нам тогда, какую роль играли немецкие колдуны во Второй Мировой войне. Честно говоря, без этого знания я бы отлично обошёлся. Сидел бы дома, играл с телеприставкой и знать не знал бы о том, что произошло когда-то.

Хоть это и было два года назад, я и сейчас помню эти события, как будто они только вчера со мной произошли.

Привезли нас автобусами к самому мемориалу. Выглядел он страшно, даже очень. Хорошо известная всему миру арка, ворота с надписью, поднятый шлагбаум...

– Сейчас вы увидите, что хранит эта земля, – произнёс герр Шлоссер.

Он махнул рукой, и вдруг свободное пространство заполнили люди. Они были совсем как настоящие – очень худые, в полосатых робах, брели куда-то, а навстречу им шли матери с детьми, старики, ещё кто-то... Они едва передвигали ноги, но одетые в чёрное надзиратели «помогали» им палками или ремнями какими-то и гнали, гнали куда-то...

– Там находились газовые камеры, – негромко произнёс герр Шлоссер. – Там убивали людей, а потом похоронная команда...

– Нет! Не-е-ет! Не на-а-адо! – завизжала какая-то девчонка так, что я вздрогнул.

Появился герр Нойманн, уведя не выдержавшую девочку. Она плакала навзрыд, видимо, отлично представляя, что видит. Интересно, откуда? Я же был несколько шокирован, не понимая, зачем нам это показывают. Экскурсия длилась два часа, и за это время нам показали многое – страшные склады, газовые камеры, крематории, ямы, в которые сваливали пепел. Мне было просто страшно, но потом я вдруг понял: это сделали немцы. Такие же, как я! Но зачем, зачем?!

Мы возвращались по домам подавленными. Хотелось просто забыть всё увиденное, не вспоминая никогда, но я

понимал, что ещё не раз увижу в ночных кошмарах картины Аушвица, и ещё – я никогда и ни за что не захочу власти такой ценой. Да, пожалуй, любой ценой! Очень уж страшным оказался лагерь. Так что, наверное, правильной была эта экскурсия.

После этого я уже совсем иначе воспринимал колдовство – серьёзнее, несмотря на то что было мне на тот момент двенадцать. Поэтому, наверное, и отправился в школу почти безропотно. Единственное, что расстраивало – электроприборы отобрали, сказали, что рванёт. Я-то поверил, а вот один из моих соучеников – нет. А узнали мы это по взрыву в его чемодане.

В свои двенадцать избалованным я не был, скорее, самостоятельным, поэтому отнёсся к запретам философски: не будет плеера – книжку читаю. Телеприставки было, впрочем, жалко, но я уже тогда понимал, что ничего просто так не бывает, потому надо терпеть, хотя зачем мне это колдовство, понять не мог.

Школа оказалась расположенной в Швейцарии. Нужно доехать до Женевы, а оттуда автобус прямо до Грасвангталя. Что интересно, школу эту никто не скрывает, нет такого, чтобы что-то тайно было. Колдуны служат и в гражданских службах, и в военных, при этом совершенно не вызывая удивления у тех, кто знает. Обычного-то человека колдовство вообще не волнует. Вот я не знаю, кто у нас нынче президент – мне это неинтересно. Канцлер-то на слуху, а прези-

дент... Так же и с колдовством — кому надо, тот знает.

Место, где расположена наша школа, уединённое, но красивое, как и вся Швейцария — Трёхозёрье, гора Рюбецаль и Лес Сказок, оказавшийся совсем не сказочным, так как ходить туда в одиночестве запрещается. В первых двух классах — так точно, а вот потом... Потом — как получится. Не о том рассказываю...

Школа выглядит приземистым трёхэтажным зданием. Герр Шлоссер рассказал, что здесь располагался дворец какой-то, что ли, я особо не прислушивался. Жить предполагается в комнатах, рассчитанных на одного, максимум двух человек. Ну, кто с девчонкой или близнецы там — в общем, не возбраняется. Я-то один живу, не люблю компанию.

Самым сложным был первый год, к концу которого я уже втянулся, конечно. Но сложный он был именно бытом, потому что в двенадцать лет просто не ожидаешь самостоятельной жизни, а тут... Нужно было ко многому привыкнуть, многое успеть... А вот второй год уже был попроще, по крайней мере, привычнее. Ну а когда мне четырнадцать исполнилось, то есть сейчас, то появились совершенно другие проблемы. Влюбился я в Лауру Шнитке. Хорошей девчонкой казалась, а вышло, что только казалась.

Лаура весело и непринуждённо ставила меня в тупик полгода в школе, методично доводя до истерики. Хорошо, что я не стал с ней съезжаться, а то война была бы... пострашнее ядерной. Если поначалу девушка была доброй, улыбчивой,

то после каникул в неё будто бес вселился. Ну да, я виноват в том, что за полтора месяца мы мало виделись – родители в отпуск на море увезли, но я же предупредил!

Вот после каникул... После каникул Лаура начала приди- раться буквально к каждому моему слову, отчего у меня воз- никло желание держаться от неё подальше. У меня всё боль- ше растёт ощущение того, что быть со мной она не хочет. Что с этим делать – ума не приложу, потихоньку, впрочем, от всего этого уставая. Наверное, она мне за что-то мстит, правда, не знаю, за что... Надо родителей расспросить.

Из-за того, что постоянно думаю о Лауре, мысли путают- ся, кажется, даже по два раза об одном и том же рассказываю. Мне сейчас об учёбе надо думать, а не о девчонке, но об учё- бе совершенно не думается. Вот как она так делает, что я всегда оказываюсь виноват?

Вот примерно в таком настроении я и отбываю на осен- ние каникулы с острым желанием посоветоваться с родите- лями. И, если возможно, попросить «инструкцию по эксплу- атации» таких, как Лаура. Невозможно же совсем! Чего она хочет? Чего ей не хватает?

Вторая глава

Алин Пари

Мне везёт, я и сама не понимаю, как сильно мне везёт. Явно приглянувшись какой-то женщине, я попадаю в её «дочки». Моя лагерная «мама» объясняет мне, что здесь бывает с сиротами. Почему-то мне совсем не хочется знать, что такое «газенваген»². Я отрицаю это знание, не желая принимать его. Но эта русская женщина, называющая меня Алёнушкой – откуда только узнала моё имя? – она спасает меня от немедленной смерти, хотя от всего остального, конечно, не спастись.

Принять местный порядок мне помогают плётки ауфзее-рок³. Здесь нельзя смотреть в глаза тем, кто в чёрном. Испуганный взгляд они могут принять за дерзкий, и тогда... Тогда будет больно.

Я смотрю за младшими детьми в нашем восемнадцатом «семейном» блоке. Младших пока на опыты не таскают, только таких, как я, хотя тоже пока не очень. Иногда кто-то из нас исчезает, иногда вместе с мамой, иногда нет, и тогда

² Газовая камера на колесах.

³ Надзирательницы (лагерный сленг).

слышен только горестный вой всё понявшей женщины. Нас здесь всех убьют. Рано или поздно, но спасения нет.

Иногда мне вспоминается моя прежняя жизнь, до которой, как я теперь знаю, полвека. Какой же душой я была! Что мне стоило послушать герра Шлоссера? Что мне стоило держаться вместе со всеми? Но теперь ничего не изменить. Теперь я – всего лишь номер, и только моя лагерная мама зовёт меня по имени. Так странно... Незнакомая прежде женщина назвала меня дочерью, заботится обо мне, дарит ласку в этом страшном месте... Она мне ближе и родней настоящей мамы, похожей на этих... ауфзеерок.

Я каждый день узнаю что-то новое... Голод, унижения, издевательства, боль. Стараясь закрыть собой младших от ауфзеерок, я принимаю на себя удары, предназначенные им. Могла ли я так раньше поступать? Не знаю, но вот теперь я просто делаю так, потому что так правильно. Может быть, малыши проживут хоть чуточку дольше...

Есть нам здесь почти нечего... Баланда из картофельных очисток совершенно не утоляет постоянного голода. Мы все плачем от этого, а я... я просто не могу смотреть в глаза младших, поэтому делюсь с ними хлебом. Плачут они, кажется, постоянно. Только по воскресеньям этот плач перебивается громкой страшной музыкой, включаемой тварями в чёрной униформе. Так мы узнаём о том, что сегодня воскресенье – из лагерных громкоговорителей звучит жуткая музыка, от которой хочется просто выть.

Моё везение заканчивается неожиданно. Ауфзеерка вдруг начинает бить меня, а потом куда-то гонит, помогая хлыстом. Я просто визжу уже от боли, но, оказавшись в каком-то белом помещении, понимаю – сейчас будут «опыты». Меня будут мучить так, как ещё не мучили до этого.

– Ausziehen!⁴ – звучит команда.

Я уже знаю, что она значит, поэтому стягиваю пропитанное кое-где кровью платье. Грубо схватив за руку, меня сажают в то самое кресло и, прошипев что-то о колдовской твари, привязывают. Кажется, страшнее быть уже и не может, но тут я вижу нечто, от чего чуть не теряю сознание: под какое-то странное жужжание острый даже на вид нож медленно приближается к моему... ну... Я бьюсь в путах, стараясь вырваться, но тут что-то происходит, и всё гаснет.

Очнувшись, я обнаруживаю себя совсем в другом бараке. Кроме меня здесь почти без движения лежат ещё два мальчика лет семи и постоянно плачущая пятилетняя на вид девочка. Не понимая, что происходит, я тем не менее веду себя очень тихо, чтобы не привлекать внимания. Но ауфзеерки о нас всё равно не забывают.

Спустя неделю нас просто как дрова закидывают в большой грузовик. Я понимаю – это и есть газенваген. Сейчас я буду умирать. Мысленно прощаюсь с папой, Швейцарией и даже с мамой, хоть она и бывала похожей на ауфзеерку. Но самое главное – я прощаюсь со своей лагерной мамой,

⁴ Раздеться! (нем).

показавшей мне, какой может быть настоящая... мама.

Но грузовик едет, а мы не умираем, тогда один мальчик, непонятно откуда взявшийся в женском лагере, тихо говорит что-то о переводе в другой лагерь. Но в другой лагерь чаще всего переводят для уничтожения, значит, это просто отсрочка и ничего больше. Так мы едем час, другой, третий, а затем грузовик останавливается, и нас всех выгоняют из машины. Затаившая пятилетняя девочка молчит, и тут я вижу, что всё рассказанное мне – правда. Страшный палач в чёрном просто кидает её тело на кучу голых тел, сообщив: «Крематориум!»⁵, а нас гонят дальше.

Заставив опять раздеться, меня засовывают под ледяной душ, а потом приказывают стоять в очереди. И лишь увидев чёрные цифры на своей руке, я понимаю, где оказалась. Об этом месте я знаю только то, что здесь всех убивают. Значит, и меня. Скоро.

Но смерть приходит не сразу. Сначала я оказываюсь в ещё более жутком месте. В большом бараке много детей разного возраста. Здесь живёт страх, я чувствую его! Этот страх грызёт нас в жутком бараке, полном детских слёз. Каждый день то одного, то другого ребёнка забирают куда-то. Иногда их возвращают, иногда нет. Иногда дети умирают в страшных муках на руках заботящихся о них старших. На моих руках. Чувствовать, как жизнь уходит из маленького тела, и не мочь ничего сделать – вот где ужас! Мне сменили номер, но те-

⁵ Крематорий (нем.).

перь нет лагерной мамы, чтобы звать меня по имени. В этом жутком месте я сама становлюсь той, кого зовут *мамой* умирающие дети.

Проходит бесконечно много времени, и за мной приходят. Я теперь – всего лишь номер, не человек, я – ниже животных и хорошо знаю это. Если я не узнаю свой номер или запинаясь, произнося его, то следует сильная, очень сильная боль, от которой я потом дрожу ещё несколько дней.

Меня приводят в помещение, в котором стоят кресло, диван и кушетка. Меня внимательно осматривают, а потом ставят перед кем-то, кто кажется мне смутно внешне знакомым. Я чувствую, что уже видела этого человека, одетого в чёрную форму. Я смотрю на это существо... Мысленно я не называю его человеком, потому что человек не будет смотреть таким взглядом на ребёнка... Хотя здесь все мы «существа»... И с номерами, и без. Люди с их нормальной жизнью остались где-то далеко, я даже не уверена, что они вообще существуют. Я не уверена, что когда-то была одной из них... Прошлая жизнь пропала в тумане...

– Hier, Herr Standartenführer, der Slawe. Gutes Material!⁶ – произносит один из чёрных.

– Versuchen Sie, sie zu stimulieren, mal sehen, was sie tun kann⁷, – отвечает сидящий, ткнув стеком мне в живот.

– А-а-а! – внезапно что-то шипит, и я чувствую сильную

⁶ Вот, господин штандартенфюрер, славянка. Хороший материал! (нем.).

⁷ Попробуйте её простимулировать, посмотрим, что она может (нем.).

боль, отчего кричу. Всё резко смазывается и гаснет.

– Nein, Friedrich, sie ist nutzlos. Dieses Tier muss entsorgt werden. Sie können sie nach Belieben verwenden⁸, – качает головой смутно знакомый *чёрный*. Что-то опять бьёт меня, сознание гаснет и...

Очередной барак... Я и ещё один мальчик заботимся о младших, помогаем поесть, рассказываем сказки и почти совсем не плачем, когда дети уходят туда, где нет лагеря, нет боли, нет *чёрных*. Просто нет сил уже плакать. На малышах ставят опыты каждый день, каждый день они кричат, кричат, кричат... Мальчик, уже не помнящий своего имени, здесь уже два года, он пытается помочь мне, поддержать, зачастую прикрывает своим телом от ударов надзирательниц, но это помогает мало – дни идут за днями, крики малышей отдаются в моей голове. Меня тоже водят в «смертный блок»⁹ – что-то колют, что-то режут, сажают на корточки, вставляя в рот... Я уже и не понимаю, что со мной делают, просто живу в своей боли, заполняющей все моё существование.

Когда меня вывели за ворота лагеря и, показав автомат, приказали бежать, я поняла, что сегодня умру. Ну, хотя бы это будет не в газовой камере... Меня назначили «дичью». Это означает, что *чёрные* будут охотиться на меня, чтобы

⁸ Нет, Фридрих, она бесполезна. Это животное нужно утилизировать. Вы можете использовать её, как пожелаете (нем.).

⁹ Одиннадцатый блок. Смертным его называли и узники, и эсэсовцы. В нём проводили опыты над людьми, в том числе и над детьми.

убить. Шансов убежать у меня нет, лес всё равно оцеплен, так что я могу побороться лишь за ещё одно мгновение жизни...

И я бегу, бегу вперёд, хотя, конечно, знаю, что измождённая, голодная девчонка вряд ли сможет убежать от *них*. Понимая это, я всё равно бегу, не замечая корягу, на которой моя нога подворачивается, и я лечу вниз, чтобы упасть на землю, вышибившую из меня дух.

Вот и всё! Уткнувшись лицом в пожухлую траву, я отчётливо осознаю: здесь и сейчас закончится моя жизнь. Пусть это будет быстро... *Пожалуйста...*

Уве Вебер

Я еду в школу, припоминая что-то о чрезвычайном происшествии, о котором говорил герр Рихтер. Отчего я вдруг вспомнил это, даже и не знаю. Просто усевшись в вагон «Интерсити», вспомнил. Лауру я даже и не ищу – опять начнёт ныть или нудеть о том, что я её не люблю и мало времени уделяю... Как мне это всё надоело – слов нет!

Так вот, о происшествии. Когда нас возили на экскурсию, герр Шлоссер категорически запретил прикасаться руками к чему бы то ни было, чтобы не вызвать «неприятностей», как он выразился. Так как я – адекватный, психически нормальный немец, то в точности следовал указанию, а вот какая-то из новеньких решила, что она – самая умная. Да, пропала девочка из первого класса. Возили их в другой лагерь, но она исчезла без следа, только рюкзак её и телефон остались. Сначала думали, что заблудилась, даже полиция искала, но никого не нашли. Получается, бесследно пропала. Интересно, как?

Впрочем, мои мысли сразу же перескакивают на Лауру. Что мне с ней делать? Родители считают, что она бесится и перебесится рано или поздно, но мне, честно говоря, надоело. Её капризы, её претензии, её нытьё... В общем, надоело мне. Общаться больше нет никакого желания, да и влюблённость исчезла, как будто Лаура эту самую влюблённость

просто убила. Никакого желания...

«Интерсити» проезжает Цюрих, теперь ещё часа три – и я на месте. В этом году мы будем изучать преобразования второго класса, именно те, что взаимодействуют с электричеством. Тут ведь что получается? Электричество при колдовстве работает как катализатор, поэтому плеер становится гранатой. Но нас в этом году научат, и как изолировать прибор, и как использовать электричество, что само по себе интересно. Во-первых, плеер хочу, а во-вторых, интересно же, что можно сделать при помощи электричества. Ну и миксты ещё, тоже пообещали что-то необыкновенное.

Осенние каникулы прошли, теперь до зимы только выходные, и всё. Родителей я скоро не увижу, что огорчает, конечно, но ничего не поделаешь, интернат есть интернат. Так что нужно просто смириться. Учиться мне ещё пять лет, школа наша имеет статус гимназии. Значит, как и везде в Швейцарии, лет до восемнадцати-девятнадцати – учёба, потом – матуриат, и вперёд... Куда вперёд, я, впрочем, ещё не знаю, времени впереди достаточно для того, чтобы пока не задумываться. У меня проблемы совсем другие – сердечные...

– Уве, привет! – слышу я голос Курта, это товарищ мой, можно сказать, почти друг.

– Привет, – киваю я ему, сделав приглашающий жест. – Садись! Чем порадуешь?

– О, что я тебе расскажу! – предвкушающе улыбается приятель. Немцы, да и швейцарцы слухи очень любят, и парни

в этом от девчонок не отличаются совсем. – Твою Лауру срисовали в Цюрихе на фестивале.

В Цюрихе во время наших каникул «фестиваль» был только один, и упоминать его в приличном обществе не принято. Раз там видели девушку, значит... Да понятно, что это значит – новых впечатлений захотелось, несмотря на то что в школе такие вещи не приветствуются. А может, просто решила назло, откуда я знаю... Но отвечаю, конечно, совсем иное, подробности-то интересны.

– Ну, может поглазеть пошла, мало ли? – пожимаю я плечами.

– Девчонки говорят, она там с кем-то тыры-пыры, да так, что полиция подхватила, – чуть ли не шёпотом сообщает мне Курт, заставив вздохнуть.

Если «тыры-пыры» с привлечением полиции, тогда действительно может быть всё серьезно. Или не может – тут не угадаешь, потому что слухи – штука сложная. Впрочем, что бы там ни было, мне уже всё понятно: если пошли слухи, то жить Лауре будет не слишком весело, да и мне несколько противно. Я не очень хорошо отношусь к этим всем штучкам, хотя в Швейцарии можно и с четырнадцати, если родители согласны. Вот если не согласны, тогда да, тогда полиция и вынос мозга на долгие, долгие месяцы. Но почему мне её даже не жалко?

Я не отвечаю Курту, задумавшись о чём-то, чего не могу даже сформулировать. Поезд, похоже, скоро прибудет,

уже и знакомые места показались, ну а тот факт, что с Лаурой мне не быть, вызывает даже некоторое облегчение, хотя отыгаться она постарается, конечно. Так сказать, выберет себе жертву посмешнее. Впрочем, не всё так плохо.

Тут поезд останавливается, нас приглашают на выход. Маршрут-то известен, поэтому я просто ни о чём не думаю – сажусь в автобус, который сразу же трогается в направлении гор, как будто только меня и ждали. Впереди – два серпантина, а за ними – Лес Сказок и наша школа. Меня ждут почти три месяца уроков, новых знаний, нытья Лауры...

Автобус подъезжает к школе так быстро, что я даже не успеваю вынырнуть из своих мыслей, но девушку вижу, только войдя в столовую – злой и какой-то обещающий взгляд у неё. В первое мгновение даже возникает желание убежать, чего я, разумеется, не делаю. Перед сном пройдуся, чтобы нервы успокоить, думаю, мне это понадобится, судя по поведению Лауры.

Что на неё такое нашло? Не понимаю, но за ужином она подсаживается ко мне, начиная вести себя, «как обычно». В моей душе зарождается надежда на то, что всё пройдёт нормально. Глупая, конечно, надежда, но тут ничего не поделаешь, такой уж я есть – всегда надеюсь на лучшее.

Конечно, Лаура дождалась, пока я доем, и начала своё «сольное выступление».

– Ты меня не любишь! Игнорируешь меня! – негромко жалуется она, а в глазах злость. – Ещё, наверное, кралю себе

завёл какую... – Лаура картинно всхлипывает.

– Да уж, скорее, ты себе нашла, – бросаю я в ответ вздрогнувшей девушке. – Тебя на фестивале видели. И полицию тоже, а я не тупой.

– Да я! – кричит она на весь зал, сжав в руках вилку. – Да пошёл ты! Импотент! Микрописькин! – она тычет в меня вилкой, от чего я легко уворачиваюсь.

Её оскорбления вызывают у меня только улыбку, потому что заметно – ругаться Лаура не умеет, а то, что считает обидным, вообще смешно. Но она, на мой взгляд, сейчас от злости что-то нехорошее сделать может, поэтому я встаю и, молча повернувшись, направляюсь в сторону выхода. Мне действительно нужно подумать и немного развеяться.

Я иду по дорожке, не думая о Лауре, мои мысли занимает осенний вечер. Несмотря на то что уже довольно холодно, мне как-то даже жарко, как будто Лауре удалось меня обидеть. Но этого же не может быть?

И вот, когда я уже думаю повернуть назад, то вижу её... На пожухлой траве ничком лежит то ли девочка, то ли девушка в каком-то сером смутно знакомом платье. Она не шевелится и, кажется, даже не дышит, поэтому я наклоняюсь к ней, чтобы потрогать пульс. От моего прикосновения она сжимается так, что мне становится страшно.

– Эй! – обращаюсь я к ней. – Ты в порядке?

Более идиотский вопрос придумать сложно, конечно...

Третья глава

Алин Пари

Я слышу, буквально чувствую мягкий шаг *этого*. Он оста-навливается... Вот сейчас... Сейчас... Я почти не дышу, хо-тя сердце бьётся где-то в горле... Но ничего не происходит. Я чувствую прикосновение руки к своей шее, а потом мальчи-шеский голос что-то спрашивает меня. Я сжимаюсь, несмот-ря на то, что в его голосе нет злобы, но *эти* – нелюди, я не хо-чу понимать язык *этих*, не хочу!

– Ты в порядке? – повторяет *этот* свой вопрос.

Издевается ещё... Нелюдь, палач проклятый! Ну, что ты стоишь?! Давай уже! Давай! Я вся сжимаюсь в ожидании бо-ли, не отвечая *этому*. Идут последние мгновения моей жиз-ни... Я знаю. Но что он делает?! Он берёт меня на руки? По-чему? Зачем?

Меня накрывает паника. Я не хочу в крематорий! Только не так! Ну сжался, убей меня сейчас! Тщетна моя мольба, *этот* куда-то тащит меня, держа на руках. Остаётся только покориться судьбе... Возможно, это какая-то *их* игра, воз-можно, что-то другое, или же *этот* просто юн и принял ме-ня за человека. *Эти* быстро объяснят ему разницу, да и мне тоже...

– Почему ты молчишь? – спрашивает *этот*, и странно – я не слышу издёвки в его голосе. – У тебя что-то болит?

Я открываю рот, чтобы ответить что-нибудь злое, после чего он меня убьёт сразу и не будет мучить, но понимаю, что судьба точно не на моей стороне – из моего рта не доносится ни звука. Я не могу говорить! Что случилось? Почему? Ведь теперь мне точно светит только крематорий и очень много боли. Мама... Мамочка...

В эти последние мгновения своей жизни я вспоминаю спасшую меня лагерную маму, совершенно не помня уже ту, что родила меня. Она-то мамой точно не была, скорей, ауфзееркой. Но сейчас я вспоминаю восемнадцатый барак и мамочку, что согрела меня, показав, что бывает иначе. В самом страшном месте на земле она показала мне любовь... И вот теперь, когда меня несут в крематорий, я думаю о ней.

Как-то слишком бережно *этот* несёт меня, будто боится, что я сломаюсь. Так забавно, через несколько минут я, наверное, стану пеплом, а меня сейчас несут, как кого-то важного. Жаль, что жизнь заканчивается именно так, но тут уже ничего не поделаешь. Дурой я жила, дурой и умру... А пока расслабляюсь, в последние свои минуты желая почувствовать тепло человека, ещё не знающего, что я – всего лишь животное из «смертного» барака.

Этот вносит меня в помещение, краем приоткрытого глаза я вижу каменные стены, но затем снова крепко зажмуриваюсь. Это совсем по-детски, но я просто не хочу смотреть

в глаза своей смерти. Я не хочу видеть палачей, хочу хоть на мгновение почувствовать себя живой, свободной...

– Герр Нойманн! Герр Нойманн! – зовёт кого-то *этой*, а я чувствую подступающие слёзы. Пожить бы ещё хоть час... Хоть на несколько мгновений дольше...

– Герр Вебер? – в голосе взрослого *этого* удивление, а я сжимаюсь ещё сильнее, готовясь к падению и удару. – Что происходит? Кто эта девочка?

– Я не знаю, герр Нойманн, – растерянно отвечает держащий меня на руках. – Я нашёл её в лесу, подумал даже, что она умерла, но она дышит и дрожит...

– Дрожит... Пойдёмте со мной, – предлагает взрослый, но не приказывает бросить животное. Что происходит? Меня что, приняли за *человека*?

Меня продолжают куда-то нести, при этом негромко переговариваясь на языке палачей. Тот, кто нашёл меня, рассказывает старшему о том, что произошло, объясняя ему, что платье у меня какое-то странное, и что я слишком лёгкая и худая. Интересно, а какой я должна быть после «смертного» барака? Неужели он не понимает? Или я вдруг смогла убежать очень далеко? Но они всё равно увидят номер, и вот тогда...

– Положите её на кровать, герр Вебер, – мягко произносит взрослый *этой*.

Я чувствую, как моя израненная спина касается чего-то мягкого, но ничего при этом не происходит. Оба *этих* будто

исчезают, а я просто очень боюсь того, что, без сомнения, сейчас случится, ведь они положили меня на спину, а значит, виден винкель и номер. Сейчас они поймут, что перед ними – животное, и будет очень больно. Нужно подготовиться к этой боли, нужно!

– Что это, герр Нойманн? – слышу я тихий голос юного *этого*. – Как это?

– У тебя же была экскурсия в Аушвиц? – интересуется в ответ названный герром Нойманном. – Ты всё правильно понял, задери ей рукав.

Мягкая рука подростка касается моего платья, а потом и кожи, и я чувствую дрожь его руки. *Этот* дрожит, задирая мой рукав... Но почему? Может быть, от омерзения? Всё-таки, он нёс меня на руках, вполне же мог испачкаться, как он думает. Но вот его рука замирает, и я слышу всхлип.

– Аушвиц... – шепчет младший *этот*. – Но... Но как? Она же такая юная! Как так?!

Он кричит, будто от боли, а я уже ничего не понимаю, страшась тем не менее открыть глаза. Но вот крик обрывается, как будто ему затыкают рот. Слышны булькающие звуки, а затем становится тихо. Я совершенно ничего не понимаю. Что произошло? Чему так удивился *этот*?

– Вот, посмотри, – слышу я голос герра Нойманна через какое-то время. – Номер, винкель, татуировка... Видишь?

– Она из Аушвица, – отвечает ему какой-то смутно знакомый голос. – И, судя по тому, что я вижу, вполне может быть

нашей пропажей. Нужно известить родителей.

– Да, пожалуй, но ты понимаешь... – герр Нойманн прерывается.

– Да, – звучит голос, который я никак не могу вспомнить. – Мы для неё – враги. Попробуй дать ей хлеба, но не раздавай.

Эти начинают переговариваться, а я пытаюсь понять, что происходит, и не могу. Мне кажется, я с ума сошла, потому что палачи, спокойно обсуждающие животное и не желающие сделать со мной что-то страшное, просто не укладываются в моей голове. Ещё я по-прежнему не могу произнести ни слова, чего *эти* пока не поняли. Это хорошо, потому что иначе кто знает, что будет, а пока меня, кажется, даже бить не хотят, что очень странно, но немного успокаивает.

И вот, когда я изнываю от непонимания, один из *этих* берёт меня за руку, вкладывая в ладонь что-то мягкое. Я, всё так же не открывая глаз, подношу свою руку к лицу, ощущая какой-то незнакомый, но очень вкусный запах. Это заставляет меня приоткрыть глаза – в руке я вижу что-то белое, на хлеб не похожее, но будящее странные ассоциации. Мне так хочется съесть *это*, что я себя почти не контролирую. Лишь на мгновение у меня мелькает мысль, что это яд, но голодный мозг отбрасывает эту вероятность – и я кусаю так вкусно пахнущую массу.

По вкусу это чем-то похоже на хлеб, только мягкое очень и какое-то необычно вкусное, но, кажется, не отравленное.

Но даже если отравленное, пусть лучше я умру от этой вкус-
ной еды, чем в газовой камере, я так уже устала ждать смер-
ти...

Уве Вебер

Подняв странно лёгкую девочку на руки, я и не подозреваю, что меня ждёт. Она очень худа, чего-то сильно боится и не открывает глаза, сжавшись так, что я совершенно ничего не понимаю, поэтому в первую очередь иду, конечно, к целителю. Иду к герру Нойманну, твёрдо веря в то, что он сможет помочь этой странной девочке. То, что она нуждается в помощи, у меня сомнений не вызывает.

– Герр Нойманн! – зову я его несколько раз, пока, наконец, целитель не обращает на меня внимание.

Краем глаза я вижу Лауру, но сейчас её взгляды мне совершенно неважны, у меня на руках явно нуждающаяся в помощи девочка в каком-то грубом, похожем по фактуре на мешок, платье. Почему-то герр Нойманн сразу же становится очень серьёзным, но к девочке не прикасается, предоставив мне возможность нести её. Это не очень обычно, потому что целитель любит всегда всё делать сам, но, возможно, он что-то понимает.

– Положите её на кровать, – говорит он мне, как только мы входим в школьную больницу.

Я поражаюсь тому, какой усталый голос у нашего целителя, как будто он носил железо или делал ещё что-то тяжёлое. На лице герра Нойманна очень серьёзное выражение, он будто ожидает увидеть нечто страшное или очень грустное.

По крайней мере, так я интерпретирую то, что вижу.

И вот, когда я кладу её на спину, вдруг вижу то, чего не может быть! Будто оживает перед глазами экскурсия в Освенцим – передо мной лежит совсем ребёнок, на платье которого – красный треугольник политического заключённого и цифры. Цифры номера, которого просто не может быть спустя больше, чем полвека, после той войны. Я смотрю на эти цифры, понимая, чего боится девочка – ведь мы говорим по-немецки. Я говорю на языке её палачей...

Герр Нойманн помнит, куда нас возили, подтверждая мою догадку, при этом советует поднять девочке рукав. Мне не нужно говорить, на какой руке смотреть, я помню. Господи, я не хочу этого видеть! Но мои дрожащие пальцы медленно задирают рукав на левой руке девочки. Медленно, очень медленно открываются цифры, и я снова замираю. Этого не может быть! Не должно быть! Нет! Почему, за что?

Целитель буквально силой вливает в меня какую-то микстуру, отчего свет просто выключается. Всё исчезает, чтобы через некоторое время появиться вновь. Я медленно прихожу в себя, обнаружив, что лежу. От истерики не остаётся и следа, но тем не менее я просто не понимаю, как такое стало возможным. Как так вышло, что возле школы колдовства Грасвангталь вдруг оказалась совсем юная девочка со страшным номером на руке, ждущая лишь издевательств и смерти.

Теперь я понимаю, почему на её голове – лишь короткий ежик волос, это вовсе не мода, не бунт, это наци. Это лагерь,

в котором выжила эта девочка. Могу ли я представить, через что она прошла? Могу ли понять, что вообще происходит?

Я открываю глаза, увидев учителей, при этом герр Нойманн делает жест, будто приказывая мне не вставать, чему я подчиняюсь, хотя хочу совсем другого. Я желаю вскочить, обнять эту девочку, закрыть от всего мира, защитить... Я совершенно не понимаю своих желаний, но очень хочу дать ей хоть капельку уверенности в том, что здесь никто не будет её мучить и убивать.

– С родителями у неё непросто, – замечает герр Шлоссер. – Мать как-то странно отнеслась к исчезновению ребёнка, даже полиция заинтересовалась.

– Это не может быть мистификацией? – интересуется наш ректор, герр Рихтер.

– Нет, Герхард, – качает головой его заместитель. – Платье, винкель, татуировка и страх – всё настоящее. Она из Аушвица, мой друг. Каким-то чудом выжившая наша потеряшка.

– Интересно, как она туда попала? – спрашивает герр Нойманн. – Ведь пропала в районе Равенсбрюка?

– Так бывало тогда, – медленно произносит герр Шлоссер. – Переводили в Аушвиц для... уничтожения, – тихо добавляет он. – Что делать будем?

– На каком языке говорят в её семье? – интересуется ректор.

– На французском, – отвечает ему заместитель. – Так что,

если не по-немецки, то, возможно...

Французский я тоже знаю, как и итальянский. Это происходит в первый год – мы изучаем при помощи специальных микстов все государственные языки Швейцарии, чтобы не было проблем понимания. Значит, с девочкой надо говорить по-французски, я запомню.

Стоп, они сказали о потеряшке, тогда, получается, она – та самая, что исчезла? Вот, значит, куда она исчезла... Нужно её отогреть, я точно знаю это! Нужно показать, что я не враг, что здесь нет врагов, но вот поверит ли она нам? Смогу ли я убедить измученного ребёнка в том, что крематория просто-напросто нет? Получается, ей двенадцать...

– Раз это потеряшка, то ей двенадцать, – замечает герр Рихтер. – И просто отпустить её домой мы не можем по Договору.

– Да, Договор таких сюрпризов не предусматривает, – вздыхает герр Шлоссер.

– Простите, – подаю я голос. – А как она будет на уроках? У неё же кошмары будут, наверное...

О кошмарах мне отец рассказывал, когда успокаивал ночами. Мне после сильных потрясений снились. Ну, какие у меня могли быть потрясения – то пятёрку получу, то несправедливость какую-нибудь увижу. А вот у девочки кошмары должны быть действительно страшные... Её же одну нельзя оставлять!

– Кошмары будут, – кивает герр Нойманн. – Помню, пи-

сали об этом после той войны. У тебя есть предложение?

– Ну, раз так получилось... – я ищу слова, чтобы правильно сформулировать, а герр Шлоссер только кивает. – Если она мне доверится, конечно...

– Интересное предложение, – улыбается герр Рихтер. – Мы подумаем.

И вот в этот самый момент девочка вдруг тонко, но очень тихо начинает визжать. Она явно спит, но этот визг полон такого отчаяния, что я не выдерживаю – бросаюсь к ней, чтобы успокоить. Я даже не понимаю, что именно делаю, сразу же обняв плачущего во сне ребёнка.

Тихо-тихо на ушко ей начинаю напевать французскую песенку, единственную, которую знаю. Она совсем детская, но, наверное, это решение правильное – девочка, имени которой я не знаю, затихает. Я сажусь рядом с ней на кровать и начинаю гладить по голове, как гладит меня мама на ночь, несмотря на то что я уже взрослый. Я просто глажу её, продолжая напевать песенку вновь и вновь, а она спит.

– Герр Вебер, почему вы так поступили? – интересуется наш ректор.

– Я просто не могу иначе, – признаюсь ему. – Это невозможно объяснить...

Я действительно не могу объяснить происходящее, но хочу сейчас только одного – чтобы эта девочка спала спокойно. Пусть лучше ей вообще никакие сны не снятся...

Четвёртая глава

Алин Пари

Аппель... На улице ещё ночь, мерно раскачивается под порывами ветра лампа, идёт переключка. Голова кружится от голода, но надо стоять, надо, иначе могут до смерти забить. Малыши стараются не плакать, им очень страшно и холодно. Даже погладить их нельзя – сразу будут бить. *Эти* только и ждут, вон как ухмыляются. Лают собаки... Переключка...

Когда нас, наконец, отпускают, я почти не чувствую ног, но в барак вернуться мне не дают. Лишь стоит повернуться, как кто-то хватает за шею и бросает наземь. Я даже не успеваю вскочить, когда о спину разбивается первый удар. Чем я прогневила *этого*? За что? В голове мутится, я кричу от нестерпимой боли, и тут вдруг в собачий лай вплетается мягкий голос, поющий французскую песенку.

Этот голос постепенно заполняет всё вокруг, боль отступает, будто я наконец-то умираю, медленно затихает собачий лай, исчезает во тьме аппельплац, остается только этот голос и темнота. Блаженная ласковая темнота, в которой нет боли, зато звучит совсем детская песенка. Она – единственное, что я слышу, отчего хочется расслабиться, забыться, и что-

бы больше не было лагеря. Отмучиться бы один раз – и всё, устала я.

Ощувив себя не под дубинкой ауфзеера на апельплаце, а в кровати, я медленно открываю глаза под звучащую песенку. Рядом со мной, будто закрывая меня ото всех, сидит... юноша. Он упитанный, значит, не из заключённых, но смотрит на меня без злости и поёт по-французски. Некоторые из *этих* тоже знают французский, я помню. Что происходит?

Попытавшись заговорить, я только вхолостую открываю рот. Ни звука не выходит из моего горла, что меня, конечно же, пугает. Может, надо мной поставили опыты, отрезали то, чем говорят? Вполне возможно... Так что теперь я могу только пищать, наверное, но совершенно не могу говорить. Что со мной теперь будет?

– Герр Нойманн, – заговаривает юноша на языке господ, и я понимаю, что он из *этих*. Наверное, просто играет с забавной зверушкой. – Она открывает рот, но не говорит.

– Так бывает, – спокойно сообщает подошедший *этот* в белом халате. – Сначала покормим, потом получит микст, возможно, постепенно заговорит. Пока постарайтесь не пугать Алин.

Я не всё понимаю в его речи, но говорит-то он не со мной, палачи разговаривают промеж собой, что им какая-то зверушка? Юноша кивает в ответ на слова *этого*, снова поворачиваясь ко мне и даже погладив. Какая у него рука мягкая, даже жаль, что всё это игра. Но зато у меня появилась

возможность прожить чуть подольше, пока им не надоест играть, ну а потом – как у всех: ревущий огонь крематория в конце. Хорошо, что нет малышей, потому что, если бы мучили ещё и их, было бы мне намного тяжелее, а сейчас можно просто расслабиться.

Я знаю, что это всё игра, и ни в коем случае не поверю в неё, но пока я тут одна, можно просто расслабиться. Не думать ни о чём плохом, лучше вообще ни о чём не думать, раз не бьют и позволяют просто так без дела лежать. Страшно, конечно, но я понимаю, что бояться просто устала. Прежняя жизнь будто развеялась дымом, как и не было её, остался только лагерь. Сначала Равенсбрюк, а потом и... Интересно, я сейчас в каком лагере? Или, может быть, просто в зоопарке? Ходили слухи, что кого-то забирали в зоопарк, чтобы настоящие люди могли полюбоваться на недочеловеков. Может, и меня так же? Тогда есть шанс пожить подольше. Но, наверное, это всё сказки...

– Сейчас принесут еду, герр Вебер, – произносит всё тот же герр Нойманн. – Вы сможете её покормить.

– А сама она не сможет? – интересуется *этот*, который теперь, видимо, мой хозяин.

Я слышала о таком, хотя, может, это и сказки, придуманные самими заключёнными, чтобы не так страшно было, потому что даже быть отданной кому-то – это лучше газовой камеры и крематория. Что угодно лучше, даже если всё равно конец будет тот же. У всех нас конец будет один

и тот же — мы станем свободными в чёрной трубе крематория номер три.

Что же, получается, я теперь его собственность. Почему-то эта мысль не вызывает никакого сопротивления внутри. Даже неинтересно, что *этот* будет со мной делать. Какая разница? Вокруг палачи, а я для них — ничто, как были никем малыши, умиравшие на моих руках. Спасения нет, я это очень хорошо знаю, видела уже, как казнили пытавшихся убежать. Слышала дикие крики. И каждое утро апельсень вновь наполняется теми, кого палачи считают животными.

Кажется, я здесь целую вечность. Вся жизнь «до лагеря» кажется мне сном, даже родившая меня мать не так страшна уже, как ауфзеерки концлагеря Равенсбрюк, хотя и отличалась от них немногим. Память почти не сохранила того, что было тогда. Эсэсовец, стоящий рядом с палачом в белом халате, кажется мне очень знакомым, но вспомнить, где я его видела, не могу. Наверное, он был одним из *тех*, кто бил меня током... Нет, не помню. Но он меня знает, меня, номера два-девять-три-три-пять... опять последнюю цифру забыла.

Я не слушаю того, о чём говорят *эти*, ведь меня их разговор не касается, поэтому, наверное, вкусный запах становится сюрпризом. Кровать меняет наклон, поднимая меня почти в сидячее положение, передо мной обнаруживается столик, на котором стоит тарелка с баландой. Только баланда выглядит иначе, чем обычно, и она горячая. Что это означает, я знаю: раз пища горячая — значит, в ней яд. Неужели это

всё, на что я годна, — умирать в муках?

Зря я надеялась на то, что новый хозяин захочет со мной поиграть. Теперь меня заставят съесть эту баланду, а потом я буду умирать в страшных мучениях, как умирали уже малыши на моих глазах и в моих руках. Я буду умирать долго, очень долго, некоторые и по два дня мучились, я помню... Сейчас мне отчего-то так сильно хочется жить, до сто-на, до крика, но выбора у меня нет, и я очень хорошо пони-маю это.

Хозяин зачерпывает баланду ложкой, видимо, не хочет ждать, пока я начну есть сама, а я смотрю на свою смерть, широко открыв глаза. Я отворачиваюсь, сжимаю губы в ожи-дании неминуемого удара, стараюсь избежать смерти, хоть и понимаю, что всё бесполезно. Я знаю, что съесть отравлен-ную баланду меня заставят всё равно, но так хочу ещё хо-тя бы мгновение прожить без боли. Спасите... Но некому меня спасти.

Но боли всё нет. Сквозь зажмуренные веки я не вижу за-маха... Не слышу пронизывающего свиста, не чувствую бо-ли, как будто *эти* раздумывают, как бы... Что? Я не пони-маю, что они делают, только ложка с одуряюще пахнущей баландой несколько раз тычется в крепко сжатые губы, да слёзы бегут по щекам. Я не хочу умирать... так.

Уве Вебер

Девочка по имени Алин, как утверждает герр Шлоссер, молчит. Смотрит на меня глазами, в которых застыл страх и покорность судьбе, но не произносит ни звука. Я понимаю – отчего-то она не может этого сделать. Понимает это и герр Нойманн, объяснив мне, что сначала надо её покорить. Выглядит она, конечно... Иссошенной какой-то, просто кожа и кости, как скелет.

Хайнцель доставляет бульон – просто прозрачная жидкость плещется в тарелке, а герр Нойманн показывает мне, как перевести кровать в сидячее положение. Я уже и сам понимаю, что сама она поест не сможет, поэтому готов, конечно, помочь ей, но Алин ведёт себя как-то совсем странно – она отворачивается, пытаясь избежать ложки, и молча плачет. Что это значит, я не понимаю, поэтому, попробовав пару раз, откладываю ложку в сторону.

– Герр Нойманн, что это? – громко удивляюсь я. – Почему она отказывается?

Я действительно не понимаю. Может быть, ей неприятен тот факт, что я взялся за ложку, и она хочет попробовать сама? Я кладу её дрожащую руку на ложку, а девочка резко раскрывает свои синие глаза, полные слёз. Выражение этих глаз можно описать, пожалуй, как ужас. Тут герр Шлоссер что-то вспоминает, он приближается к кровати.

– Это не яд! – рывкает учитель, отчего подскакиваю я. – Это обед!

После чего разворачивается и делает вид, что уходит. Дрожащая рука осторожно берётся за ложку, а я вдруг понимаю. Нам же рассказывали о том, что делали с детьми проклятые наци! Неужели Алин подумала, что её хотят отравить? Кажется, она думает так до сих пор, вон как рука дрожит. Что делать? Как её убедить? И тут я вдруг понимаю, как.

– Герр Нойманн, а можно мне тарелку и немного отлить у Алин? – интересуюсь я, на что целитель улыбается.

– Можно, герр Вебер, – откликается он, подозвав хайнца-ля.

Алин ошарашенно наблюдает за тем, как бульон из её тарелки переливают в мою, как я беру ложку, начиная есть не очень-то вкусный обед, который в обычной жизни ни за что бы не согласился есть. Но только ради того, чтобы показать, что еда не отравлена, я быстро съедаю, практически всосав эту жидкость, под ошарашенным взглядом девочки. Она смотрит так, как будто у меня рога выросли или хвост.

Алин начинает есть, как только я отдаю тарелку. На её лице – недоверие и одновременно покорность, как будто она уже смирилась со всем. Медленно, очень медленно, расплёскивая бульон, она тем не менее ест. Рука её обнимает тарелку, намертво фиксируя посуду, в еду капают слёзы. Очень хочется обнять девочку, но я просто опасаюсь напугать её резким движением. Даже не знаю, что мне делать.

Наконец, она заканчивает с едой, я мягко помогаю ей откинуться на подушках. Переодевать её просто побоялись, поэтому во вполне современной кровати лежит девочка в лагерном, как я теперь знаю, платье, и смотреть на неё просто страшно. Мне страшно видеть эти покорные синие глаза, полные плохо спрятанного страха, эти руки, более похожие на обтянутые кожей кости...

Алин прикрывает глаза, наверное, утомилась, или же... Не хочу думать о том, что она ждёт смерти. Не хочу! Господи, ну пусть она поверит мне. Не удержавшись, осторожно обнимаю её, чувствуя дрожь худых плечиков под моими руками. Она боится, очень боится, и это вполне понятно, ведь мы все для этой девочки... палачи... Именно немцы мучили её, может быть, даже били. Именно немцы и есть её самый большой ужас, ведь наши предки уничтожили её жизнь.

– Давай попробуем дать микст, – предлагает герр Нойманн. – Или сначала переоденем?

– Имеет смысл переодеть, – подаёт голос герр Шлоссер. – Может быть, тогда хоть на минуту забудет о лагере.

Я хочу встать, чтобы выйти и не смущать Алин, но меня останавливают. Герр Нойманн качает головой, тяжело вздыхая. Я не понимаю, что это значит, а он ещё раз вздыхает, решив объяснить:

– Сейчас я позову фрау Вернер, – сообщает он мне. – Но вы, герр Вебер, останетесь тут. Смутить её вы не сможете, им смущение в первые недели отбивали, а вам она хоть

как-то доверяет.

– Хорошо, – киваю я, приняв аргументацию, а затем наклоняюсь к Алин и негромко по-французски объясняю: – Сейчас придёт учительница истории, мы вместе переоденем тебя, хорошо?

Девочка, видя, что я жду ответа, начинает расстёгивать платье. Не знаю, о чём она думает, но я кладу свою ладонь поверх рук Алин, останавливая её. Почему-то я не хочу, чтобы она раздевалась, будто боясь увидеть её тело. Хотя я, конечно, подозреваю, что именно увижу. Герр Шлоссер выходит, а я поглаживаю руки Алин, отчего она просто замирает, с недоверием глядя на меня.

– Что произошло? – судя по всему, заместитель ректора школы встретил фрау Вернер в коридоре и просто привёл в школьную больницу.

– Здравствуйте, фрау Вернер, – здоровается герр Нойманн. – Нужно переодеть девочку, только очень осторожно, и по возможности говорить с ней по-французски.

– Что это за игры? – удивляется женщина, подходя поближе, а я не могу оторваться от Алин, чтобы поприветствовать учительницу. – Это что такое?

Голос у фрау Вернер какой-то полузадушенный, что ли. Она будто не верит самой себе, и, обернувшись, я вижу это. Женщина медленно подходит к кровати, явно не веря своим глазам. Я бы тоже не поверил, если бы сам не принёс Алин сюда.

– Герру Веберу девочка хоть как-то доверяет, – объясняет целитель. – Поэтому он вам поможет.

– Кто это? – тихо спрашивает учительница, глаза которой не отрываются от винкеля. – Кто с ней это сделал?

– Это наша потеряшка, – грустно сообщает герр Шлоссер. – Помните, девочка потерялась во время экскурсии. Это она. А сделали с ней это... немцы. Как со многими до и после неё.

– Немцы... – шёпотом произносит фрау Вернер, потянувшись затем к Алин.

Она опускается на колени рядом с кроватью, начиная гладить девочку. Учительница мягко гладит Алин, и мне кажется, что они плачут обе. Смотреть на это очень больно, как будто прямо перед моими глазами происходит встреча двух эпох. Фрау Вернер пожилая, хотя я её возраста не знаю, но она смотрит на Алин во все глаза, как-то очень привычно проверив номер. Слезы текут из глаз учительницы, а гладит она Алин чуть ли не с благоговением, медленно начав раздевать девочку.

Интересно, почему фрау Вернер смотрит так на Алин? Этого я не понимаю, однако помогаю её раздеть. Надо взять себя в руки и не заплакать, ведь мне четырнадцать! Господи, какие звери ходили по земле всего полвека назад, какие звери, Господи...

Пятая глава

Алин Пари

Хозяин ведёт себя странно. Почему-то он не стал меня бить, хотя я была готова к этому. Вместо этого он отлил из моей тарелки баланды и споро смолотил её, хотя и морщился. Ну это понятно – человеку неприятна пища животных. Однако он сделал это, чтобы показать мне, что моя баланда не отравлена, и это странно. Скорей всего, он играет просто – что я могу знать о забавах господ? Но не бьёт, не мучает, значит, всё в порядке.

Я съедаю баланду, после чего просто жду, но команд не поступает, отчего я чувствую себя растерянной. Что мне делать? Я не знаю. Хозяин изо всех сил изображает заботу, как он её понимает. Возможно, меня ему подарили, чтобы он научился заботе, пусть даже и о временной игрушке. А то, что игрушка я временная, известно мне совершенно точно.

Я жду, когда начнётся боль, ведь я помню, как мучились малыши, но она почему-то не начинается. Я чувствую тепло внутри, мне совсем не больно, и даже голод чуть отступает. Из разговора *этих* я понимаю, что они хотят меня раздеть. Видимо, для опытов или чтобы избить. *Этим* очень нравится раздевать, почему так, я не знаю, но покоряюсь, начав расстё-

гивать платью, но хозяин останавливает меня, принявшись поглаживать руки. Что он делает? Зачем? Странная какая-то игра.

Меня же отдали *этому*, обращаются постоянно к нему, значит, он – мой хозяин, а я – его игрушка. Сначала его будет забавлять это, потом он начнёт ломать игрушку и в конце концов сломает. Они иначе не умеют, поэтому моя жизнь закончится именно тогда, ну или если я ему надоем. Жить отчего-то очень хочется, как угодно, но жить, поэтому я решаю делать всё, что захочет хозяин.

Приходит какая-то... Тоже, наверное, из *этих*, но она как-то очень бережно со мной обращается, что необычно. Впрочем, я начинаю постепенно привыкать к этой игре, дающей мне возможность почувствовать себя не животным. *Эта* очень талантливо изображает шок, когда стаскивает с меня платье. Из-за того, что я лежу, платье жёстко проходит по спине, и в следующее мгновение я понимаю, что меня сейчас изобьют, ведь я пачкаю своей кровью белые простыни.

Но хозяин сразу же подхватывает меня на руки, затем кладёт лицом вниз, а я готовлюсь к боли. Сейчас будет очень-очень больно, а за крик – ещё больнее, хотя и кажется, что больше некуда. Но моей спины касается что-то холодное, оно совсем не делает больно, просто холодит, как снег... От страха я даже не понимаю, что происходит.

– Герр Вебер, придержите девочку, я наложу заживляю-

щий микст, — я слышу слова, но не понимаю их, зато, кажется, понимает хозяин.

— Наверняка прятала младших детей от палачей, — произносит женский голос. — Потому и вымещали на ней зло. Уве, погладьте её, девочке очень страшно просто от позы.

И хозяин слушается *эту*, принимаясь гладить меня по голове. Я же совершенно не понимаю, что происходит. Появляется даже мысль о том, что теперь животные считаются людьми, но я понимаю, что такого просто не может быть. Если бы это было правдой, меня бы не подарили *этой*. Несмотря на то что хозяин, кажется, очень добрый, насколько *эти* умеют быть добрыми, мне всё равно страшно, конечно.

После того как со спиной делают что-то, меня удерживают в таком положении. Я, кажется, знаю, что происходит. *Эти* увидели кровь и сейчас чем-то покрыли меня. Через несколько минут станет очень больно, а потом придёт избавительница-смерть. Ведь не могут же *эти* сделать что-то хорошее! А что, если делать хорошее — это часть игры? Может же это быть частью игры?

Подумав, я понимаю, что вполне может. В это время на меня надевают длинную рубаху, до пяток, но она закрывает меня только спереди, а сзади, насколько я вижу, у неё завязки. Всё правильно, должны же они оставить возможность меня избить... А рубашка, наверное, недешёвая, судя по тому, как мягко она прикасается к коже. Переодев, меня снова

кладут на спину, но мне почему-то совсем не больно, только холодит что-то на спине и ниже, но я молчу. Не настолько это неприятно, так что терпеть я могу, не малышка же.

– Герр Вебер, сейчас вы мне поможете, – жёстко говорит моему хозяину палач в белом халате, протягивая ему какую-то бутылочку, наверное, яд. – Дайте Алин микст.

– Сейчас, герр Нойманн, – соглашается юный *этот*, но вот приказывать мне не спешит. Он гладит меня по голове, отчего мне становится как-то тепло.

Я готова к тому, что хозяин сейчас усыпит мою бдительность, а потом или изобьёт, или ещё что-то сделает страшное. Но я понимаю, что бояться просто устала, поэтому просто приоткрываю рот, демонстрируя ему готовность. Яд так яд, поскорее бы всё закончилось, и тогда будет – я верю, будет – волшебная страна, в которой много хлеба, молока и совсем нет палачей.

Поколебавшись, хозяин вливает мне в рот что-то горькое, отчего я чуть не выплёвываю это назад. С трудом сдержавшись, я глотаю эту горечь и понимаю, что теперь меня ничто не спасёт, а жить остаётся совсем немного. Может быть, хозяин убивает меня не потому, что хочет видеть мои мучения, а совсем наоборот? Вдруг он меня жалеет и хочет убить безболезненно? Как бы то ни было, остаётся только ждать...

Я прикрываю глаза, ожидая того, что неизбежно последует. Но боль не приходит, а вместо этого я начинаю уплывать куда-то в темноту. Последнее, что я чувствую – бла-

годарность этому юноше за свою лёгкую, почти приятную смерть...

Меня ничего не беспокоит, совершенно ничего, но когда неожиданно для себя я открываю глаза, то вижу только хозяйина и больше никого. Я понимаю, что уснула, но почему-то не умерла. Значит, яд оказался некачественным, и *эти* ушли придумывать что-то другое. Хозяин, кажется, дремлет, сидя рядом с моей кроватью на стуле, поэтому я стараюсь ничем себя не выдать. Чем дольше он спит, тем дольше не больно, я точно это знаю.

Что же со мной произошло? Ведь меня называли дичью и хотели убить, а вместо этого подарили юноше. Наверное, он захочет сделать что-то... Не знаю, как это называется, но говорят, будет очень-очень больно, хоть и не до смерти. С болью я, пожалуй, смирилась, главное, чтобы не бросили живой в крематорий, потому что это очень страшно. Крематория-то я всё равно не избежну, став пеплом, но лучше, чтобы я к тому времени ничего не чувствовала... Хотя кто меня спросит?

Пытаюсь вспомнить жизнь до лагеря, но перед глазами какие-то смазанные картины. Наверное, действительно та жизнь мне просто приснилась, а лагерь был всегда.

Уве Вебер

Алин как-то очень покорно принимает и переодевание, и микст после этого. Впрочем, стоит с неё снять платье, как сразу же открывается кровотечение из ран на спине, она сильно пугается, я вижу это, поэтому, почти не отдавая себе отчёта в своих действиях, беру её на руки. Герр Нойманн творит преобразование очистки – оно, как душ, смывает всё, потому что сейчас Алин под воду никак не засунешь... Потом он просит меня положить девочку на живот. И вот, когда я вижу её со спины, чуть не всхлипываю.

Она страшно и не раз избита – просто живого места нет. Герр Нойманн достаёт баночку с заживляющим микстом, начиная наносить его мягкими плавными движениями. Густой прозрачный гель сразу же темнеет, становясь бордовым, что это значит, я, впрочем, не знаю. Затем он всасывается в кожу, оставляя вместо шрамов и открытых ран тонкую кожу, после чего фрау Вернер надевает больничную накидку на Алин, а я переворачиваю девочку.

Она смотрит на меня обречённо, кажется, уже приняв свою судьбу, как она её себе воображает, – по крайней мере, такое у меня возникает ощущение, а вот потом сама соглашается на микст. Я всё ещё нахожусь под впечатлением увиденного, потому помогаю ей выпить, после чего Алин сразу засыпает. Герр Нойманн удовлетворённо кивает, значит, всё

происходит именно так, как должно.

– Такая вот девочка спасла меня, – негромко произносит фрау Вернер.

– Но погодите, – целитель явно удивлён. – Вы тогда должны были быть совсем юной!

– Мне два года было, – вздыхает учительница. – Такая вот девочка спрятала меня, и я не попала в газовую камеру. Я не помню ни номера её, ни как она выглядела, только ласковые руки – и всё...

– Поэтому вы к ней так отнеслись, – кивает герр Нойманн. – Я могу вас понять, но что мы будем делать?

– К мальчику она привязалась, похоже, – герр Шлоссер внимательно смотрит на меня. – Уве, подумайте ещё раз: сейчас ещё не поздно всё переиграть, но затем она может просто в вас вцепиться. Вы готовы к такому?

– Я готов, – спокойно киваю я в ответ, хотя внутри отнюдь не спокоен.

Я отлично понимаю, о чём говорит заместитель ректора, и не могу не задуматься. Тогда, после экскурсии, нам рассказывали о мужчинах и женщинах, переживших лагерь и находивших «якорь» в жизни. Возможно, для Алины я становлюсь именно таким «якорем», или же она просто считает меня меньшим злом. Может же так быть? Помню, читал о подобном или фильм смотрел.

Из-за Лауры я в последнее время всё больше погружался в себя, находя успокоение в книгах, поэтому мне кажется

ся чем-то знакомым поведение Алин. Что-то есть в ней такое, хотя мой разум не может принять того, что видят глаза. Не может в современном обществе существовать настолько худенькая, почти прозрачная, но очень сильно избитая девочка с номером на руке. Просто не может! Я не могу даже представить, что она видела и через что прошла...

– Посидите с ней, герр Вебер, – предлагает мне герр Шлоссер, хотя я как раз и хотел его попросить о том, чтобы мне это разрешили. – От уроков я вас пока освобождаю, раз у нас такое происшествие.

– Спасибо, герр Шлоссер, – от души отвечаю ему.

Как он сумел почувствовать моё желание, я не знаю, но заместитель ректора – вообще человек необычный, поэтому я просто благодарен ему. А герр Шлоссер тем временем увольняет всех из палаты, оставляя нас наедине. Меня и спящую девочку. Судя по её страху, она просто не принимает окружающего мира или не может в него поверить, что тоже возможно. Я не знаю, ведь мне всего четырнадцать, а не пятьдесят.

В задумчивости я закрываю глаза, откинувшись на спинку стула. Мне о многом надо подумать. Для начала я думаю о Лауре, как-то безотчётно сравнивая её с Алин. Не знаю, как так происходит, но вот сейчас, глядя на спящую девочку, понимаю – Лаура просто играла в любовь, в отношения, но ничего не испытывала. А вот Алин... Я для неё – страшный, наверняка же страшный, но даже в своём страхе она

искренна.

Эта девочка отличается от всех, кого я знаю, потому что в её глазах такое, чему просто нет места в нашем обществе. Алин отсутствовала всего несколько месяцев, но за это время её успели... сломать? Что нужно делать с ребёнком, чтобы горячая еда воспринималась как яд? Я не знаю...

Услышав изменившийся ритм дыхания Алин, я понимаю – она проснулась, но лежит очень тихо, как будто боится меня разбудить. Может, и боится, такое вполне вероятно, но почему? Мне очень трудно понять её, но я должен, просто обязан, потому что она же совсем одна. Поймут ли её родители? А если оттолкнут, что тогда с ней будет?

– Проснулась? – негромко, чтобы не напугать, спрашиваю её. – Герр Нойманн сказал, что ты теперь сможешь говорить, давай попробуем?

– А-а-а-а, – тянет она, но затем в её глазах опять появляется ужас, а я не могу себе противиться.

Я просто обнимаю опять задрожавшую Алин, не сильно понимая, отчего она так реагирует, ведь нет же никого вокруг. Девочка же силится что-то сказать и не может, хотя звуки издаёт. Тут нужен герр Нойманн, но он вышел со всеми, а я просто не знаю, что нужно делать. Я говорю с Алин по-французски, отчего-то начав рассказывать сказку. Она прислушивается и успокаивается – ну, мне так кажется. По крайней мере, почти не дрожит.

Странно, что девочка совсем не смущена своим положе-

нием, да и переодевали её при мне. Хотя герр Шлоссер объяснил, но в голове у меня это совсем не укладывается, поэтому мне и сложно понять. Пока же я только обнимаю её и рассказываю сказку, стараясь сделать рассказ как можно мягче. Так мама делала, когда я болел. Алин не болеет, но я думаю, ей тоже поможет.

Что же с ней будет? Если родители не примут, то, может быть, мои?.. Надо связаться хотя бы с папой, что ли. Но что мне сейчас делать?

Ответ на этот вопрос находится сам по себе. Кажется, Алин засыпает в моих руках. Дыхание становится другим, губы чуть приоткрываются, а глаза закрываются. При этом она не дрожит, так что, возможно, действительно засыпает. Интересно, если её не выпускать из объятий, кошмары начнутся? Почему-то не хочется выпускать, она так хотя бы не дрожит. Кто знает, кем меня считает Алин – другом или врагом, но сейчас мне хочется только одного – чтобы она отдохнула. Почему-то это мне важно.

Надо всё-таки с папой связаться, он, может быть, хоть советом поможет, потому что у меня мыслей просто нет. Не испугается ли его Алин?

Шестая глава

Алин Пари

Хозяин меня как-то очень мягко обнимает – так, что мне не хочется думать о плохом. Я закрываю глаза в надежде на то, что этот момент продлится подольше. Как-то тепло становится на душе, несмотря на то что это хозяин, и он из *этих*. Может быть, я ему понравилась, и теперь он не будет меня убивать?

Как бы сделать так, чтобы хозяин не отдал меня на опыты? Если я ему нравлюсь, может быть, он не будет очень часто бить и мучить? Ведь пока он держит меня на руках, то не бьёт, а значит, можно на мгновение представить себя свободной. Не на лежанке печи крематория, а как будто я – не животное. Просто представить себя в сказке, рассказанной хозяином. Пусть даже мучает, но... мне так хочется сейчас жить...

Мне двенадцать, кажется, лет. В моей жизни были какие-то неясные картины и лагерь. Сначала Равенсбрюк, а потом уже и Аушвиц, а вот какой сейчас, я не знаю. Может быть, меня вообще домой взяли, чтобы дети *этих* могли играть с забавной зверюшкой? Я не знаю, просто не понимаю, что происходит, и от этого мне очень страшно, но хозяин

держит меня на руках, и этот факт как-то успокаивает, потому что пока он держит меня, то руки у него заняты, он не может побить. А пока не бьют – всё хорошо.

Он даже слегка покачивает меня на руках, как делала лагерная мама. Воспоминание о доброй женщине, которую наверняка уже убили, болью пронзает грудь. Ведь я была ей никем, совсем никем, а она спасла меня, гладила, находила возможность сказать что-то хорошее и даже... даже подкармливала меня своим хлебом. Как такое возможно, как?

– Что тут у вас? – слышу я голос *этого*, который в белом халате.

– Тише, герр Нойманн, – негромко отвечает ему мой хозяин. – Кажется, она спит.

– Спит – это хорошо, – соглашается *этот*. – Говорить начала?

– Нет, герр целитель, – вздыхает юноша. – Только звуки издаёт.

Почему-то палача в белом эта новость радует. Он начинает объяснять моему хозяину, как нужно со мной заниматься, чтобы я могла снова начать говорить. Я прислушиваюсь, потому что хочу знать, что меня ждёт. Но названный целителем палач не говорит о том, что меня надо чаще бить или ещё как-то делать больно для стимуляции, напротив, он рассказывает о терпении и ласке, что ставит меня в тупик. Это, наверное, какая-то изошрённая игра такая! Ведь не может же палач не желать боли животному?

Так просто не бывает! Не бывает, и всё! Поэтому нельзя верить. Вот, помню, *эти* переодели в господское одну девочку, лет пять ей было, и играли с ней. Долго играли, а потом просто пристрелили. Она умирала долго и до последней минуты не верила, что это всё было ложью. Я не хочу оказаться на месте этой девочки, не хочу! Нельзя верить в игры *этих*, они не могут быть добрыми к животным!

Так хочется поверить в то, что всё плохое закончилось, и теперь будет только хорошее, но это глупая надежда. Хорошее начнётся, как только опадёт огонь печи, и моя душа устремится на свободу, подобно многим и многим, сквозь трубу крематория. Мне сейчас так хочется жить, хотя я и понимаю, что мои надежды тщетны, но жить хочется до визга, я уже, наверное, на что угодно согласна, только бы протянуть эти мгновения жизни ещё хоть на чуть.

– Разбудите её, герр Вебер, – просит этот старший. – Ей нужно поесть.

– Хорошо, герр Нойманн, – отвечает ему хозяин, очень мягко убирая руки, а я против воли, кажется, цепляюсь за его руку, в ожидании неминуемой боли.

Что со мной? Почему я цепляюсь за его руку, будто хочу спрятаться? Ведь он же *этот*! Сейчас, вот сейчас он достанет плеть и... Я так боюсь первого, приходящего всегда неожиданно удара! Я хватаю хозяина за руку в надежде на то, что удара не будет. Тщетная надежда, я знаю! Я всё знаю, но так не хочу сейчас боли!

– Герр Нойманн! – зовёт мой хозяин палача, не пытаюсь почему-то отцепить мою руку.

Нет! Сейчас *этот* в белом халате сделает мне так больно, как и представить сложно! Кажется, я дрожу очень сильно, даже пытаюсь уползти от неминуемой расплаты, я... Пожалуйста, нет! Я в совершенном отчаянии, пытаюсь сжаться, спрятаться, сделать так, чтобы между мной и этим ужасом оказался хозяин...

– Не двигайтесь, герр Вебер! – слышу я отрывистую команду. – Обнимите девочку!

Я снова чувствую обе руки юного *этого*, который мой хозяин. Меня трясёт так, как будто я в первый раз на экзекуции, а он обнимает меня, прижимает к себе и уговаривает не бояться. Он уговаривает меня по-французски не дрожать, мягко как-то... как мама. Не та, которая родила меня, а мама из концлагеря Равенсбрюк. Я не слышу ярости в его голосе и мрачного обещания тоже. Хозяин будто действительно старается меня успокоить, и это самое невероятное.

Я не понимаю происходящего, кроме того, что мне, похоже, не хотят сейчас делать больно. Но я не верю, ведь они же страшные! Страшные! Им нравится, когда кричат и плачут! Почему тогда *эти* так себя ведут, как будто им есть дело до какого-то животного? Перед моими глазами встаёт наш «смертный» блок, последнее пристанище многих и многих, умирающие дети, совсем малыши и ухмыляющиеся *эти*. Почему, почему *там* они такие, а *здесь* совсем другие?

– Дайте ей хлеба, герр Вебер, – другой голос вплетается в мои мысли. – Их это обычно успокаивало.

И сразу же хозяин вкладывает в мою руку кусочек чего-то мягкого, лишь на мгновение расцепив объятия, но затем снова закрыв меня от страшных *этих*

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.